

ИМЯ ЦАРИЦЫ

ЛЮБОВЬ И МАГИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

ИНЕССА
ЗАХАРОВА

Инесса Захарова

Имя Царицы

<https://litres.ru/74691193>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сначала женщина забыла лицо умершего мужа. Потом с его гробницы исчезло имя.

Храмовая певица Нефрет понимает: это не случайность. Кто-то научился стирать людей из памяти — так, словно их никогда не существовало. И следующей жертвой должна стать Хатшепсут, женщина на троне Египта.

Нефрет слышит то, чего не слышит никто: тайные имена живых и мёртвых. Её дар может спасти царицу. Но он же делает саму певицу мишенью.

Единственный, кому она решается довериться, — Хор, воин, присягнувший юному соправителю Хатшепсут. Их поиски ведут от фиванских гробниц через пустыню и море к далёкой стране Пунт. С каждым шагом враг оказывается ближе, а чувство между ними — сильнее.

Нефрет готова рискнуть жизнью ради тех, кого любит. Но как защититься от человека, способного заставить тебя забыть, за кого ты борешься?

И что останется от любви, если однажды любимый посмотрит на тебя — и не узнает?

Содержание

Глава 1	Голоса камня	5
Глава 2	Стрела и лотос	19
Конец ознакомительного фрагмента.		33

Инесса Захарова

Имя Царицы

Часть первая Украденные имена

Глава 1 Голоса камня

Девятый год общего царствования Хатшепсут и Тутмоса. Праздник Долины.

Пир в гробнице канатчика Хапи начался на закате, когда жара отпустила город мёртвых и западный берег остыл до тёплого.

Двор перед часовней был заметён, выстлан циновками. На углях жарилась рыба, в песке по колено стояли кувшины с пивом, и вся родня Хапи — от старухи-матери до грудного внука — ела, пила, хвастала и плакала, как положено на празднике Долины: в этот день мёртвые приходят к живым в гости, и нехорошо, если застолье встречает их пустыми чашами. Над входом в гробницу, высеченное и выкрашенное синим, висело имя отца Хапи, а под ним Нефрет слышала его настоящее имя — густое, волокнистое, пахнущее пенкой и смолой. Совсем как его сыновья.

Пели вдвоём с Мерит. Мерит была моложе её на год, круглолицая, с голосом чистым, как вода в храмовом озере, и с характером торговки рыбой: она уже успела выторговать у старшего сына Хапи два лишних хлеба и пообещать кому-то из внуков, что певицы непременно споют «его» песню, какую бы он ни выдумал к утру. Систр лежал у Нефрет на коленях, тёплый от рук. Когда она встряхивала его на сильной строке, мёртвый отец Хапи придвигался к двери ближе — она слы-

шала, как его имя светлеет, как тянется к пению, подслеповатый и довольный, и ей было радостно от этого, и немного стыдно перед живыми, которые платили.

Живые, впрочем, тоже были довольны. Хапи, красный от пива и родственной любви, обнимал каждого, кто подходил к кувшинам; его жена совала Нефрет в руки жареную рыбу; двое дядьев спорили о царях давно умерших, и оба были правы, и оба были неправы.

Третий дядя, могильщик с дальнего холма, молчал весь вечер, а под конец вдруг сказал, что дела в городе мёртвых нынче скверные. У надписи Пенджерти кто-то соскрёб имя — чисто работали, под воск, не грабители, грабители берут золото, а не слова. А на той неделе хоронили кожевника с набережной, и вдова его до сих пор не может вспомнить его лица, хотя тридцать лет варила ему похлёбку. Стоит у порога и спрашивает: кого это мы хоронили? Ему сказали: ты пьян, дядя, иди спи. Он не спорил. Но пива больше не брал, и веселья из него вышло, как воздух из пузыря.

Старуха-мать Хапи очертила знак Исиды и велела ему замолчать, пока он не спугнул гостей с той стороны. Пир пошёл дальше, но Нефрет запомнила: соскрёб. Под воск. На таких пирах Нефрет всегда чувствовала себя прозрачной: сквозь неё текла чужая жизнь, — вот семья, вот родня, вот те, кто помнит, кто чей ты. У неё не было такого. У неё был хор.

— Ты опять это делаешь, — шепнула Мерит в перерыве, разрывая лепёшку. — Ты опять поёшь не тем, кто живой.

— Я пою тем, кто слушает.

— Вот именно. — Мерит запихнула в рот половину лепёшки и заговорила с набитым ртом: — Живые платят, Нефрет. Живые. Хлебом. И ещё, — она наклонилась ближе, и глаза у неё стали круглые, — у речных ступеней стоит стража новая, из дома юного царя. Один там — высокий, усмехается так, что у женщин сдают колени. Я как шла мимо, прямо почувствовала, как мои сдают. Завтра пойду стирать к реке. И послезавтра. И вообще я теперь очень чистоплотная.

Старуха-мать Хапи подозвала её, когда солнце село и зажгли лампы. Руки у старухи были как сухие корни, а глаза — совсем молодые.

— Спой моей матери, — сказала она. — Муж говорит, она ушла давно и не услышит. А я чую: стоит у двери. Мать всегда ждала, пока её споют. — Она помолчала. — Я старая, певица. Я скоро сама буду стоять у двери. Мне надо знать, что там, с той стороны, не темно.

Нефрет взяла сistr. Она не сказала старухе, что темно там бывает, только когда гаснет имя, а имя её матери висело над соседней часовней — ровное, крепкое, любимое. Она спела вечерний гимн Хатор, владычице запада, той, что встречает уставших, и пела не в толпу, а в дверь соседней часовни, и тень там поднялась к концу первой строки — тёплая рябь над порогом, — и слушала, склонившись, как слушают плохо слышащие.

Старуха плакала и улыбалась. Она не видела тени. Смот-

рела, куда поёт Нефрет, и кивала.

Домой певицы не пошли вместе с остальными: Мерит увели вниз, к реке, ещё трое хохочущих женщин с корзинами, — Бакет ушла ещё раньше, ворча про свои колени, — а Нефрет осталась собирать храмовые лампы. Лампы были медные, хорошие, и Бакет велела вернуть их сосчитанными, потому что лампы имеют обыкновение не возвращаться с пиров. Нефрет не возражала. Ей нравился западный берег в этот час: живые уходили, а мёртвые ещё стояли у дверей.

Она шла между гробниц по тропе, вытоптанной могильщиками, и камень под ногами гудел. У известняка имя было низкое, ленивое, тёплое после дневного солнца — оно тянулось из глубины, как звук, который ещё гудит в груди у певца, когда он уже закрыл рот. У высохших тамарисков за оградой — шелестящие, ломкие имена. У нильской воды за холмами — одно-единственное, длинное, бесконечное, и Нефрет никогда не могла разобрать его целиком: оно не помещалось в человеке.

Своего первого имени она не знала. Восемнадцать лет отзывалась на то, которое дала Бакет. Родителей у неё не было — были ворота храма, корзина и плач; так, во всяком случае, рассказывала Бакет, а Бакет врала редко и только по делу. Дар проснулся в раннем детстве: Бакет до сих пор рассказывала, смеясь и раздавая защитные знаки на все четыре стороны, как трёхлетняя замарашка впервые ответила стене.

Стена сказала своё имя — стены говорят, если их долго греет солнце, — а девочка повторила его вслух, и стена дрогнула, и три жреца попадали носами в пыль, потому что в этот день по храму прошёл толчок, как от подземного вздоха. С тех пор Бакет следила за ней в два глаза и учила первым делом не письмам и не пению, а молчанию: жрецы, говорила она, любят чудеса только собственного изготовления.

Имя ей дала тоже Бакет, повертев в руках ту же замарашку, которая не плакала, а слушала стену.

— Нефрет, — решила тогда Бакет. — Красивая. Девочка с такими ушами обязана носить красивое имя.

Имя прижилось. Так растёт пересаженный финик: чужой, а плодоносит.

Своего настоящего имени Нефрет не слышала никогда. У всего в мире оно звучало для неё — у камня, у воды, у каждого встречного, — а её собственное молчало, как молчит для певца собственный голос, если он не отразится от стены. В детстве она плакала об этом: выходит, у меня его нет, выходит, я никто. Бакет тогда шлёпнула её полотенцем и сказала: у того, кто слышит всех, собственное имя держат боги, чтобы не зазнавалась. С тех пор Нефрет делала вид, что так и надо. Но иногда, безлунными ночами, она слушала себя — долго, до звона в ушах, — и тишина отвечала ей вежливо, как отвечает запертая дверь.

У дверей часовен поднимались тени. Они выходили к дверям — не так, как ходят живые, а как встаёт от стены жар,

когда солнце давно ушло. Нефрет здоровалась с теми, кого знала. Здесь спал виночерпий Ити, ворчун и сладкоежка; там — ткачиха Руйя, что выткала когда-то покрывало для самой царицы-матери. Их имена висели над входами, высеченные и выкрашенные, и от каждого тянуло тихой мелодией. Пока имя на камне, мёртвый не одинок.

— Доброй ночи, Хенут, — сказала Нефрет, проходя мимо низкой часовни с облупленным портиком.

Хенут была певицей, как она сама. Умерла сто лет назад, родня её вымерла, жертв ей не носили давно, но имя над дверью было хорошее, крепкое, и Хенут никуда не спешила. Каждый раз, слыша своё имя из живых уст, она приподнималась у порога — тёплая рябь в ночном воздухе, — и Нефрет пела ей половину строки из утреннего гимна. Они с Хенут подружились так, три зимы назад.

Сегодня рябь не поднялась.

Нефрет остановилась. Переслушала ночь: шакалы у дальних склонов, совы, ветер в сухой траве. Имя Хенут на месте — она слышала его над дверью, ровное, спокойное. Но под ним, глубже, жило что-то другое. Что-то сдирали.

Звук был не звук вовсе. Так кричит струна, когда её перерезают ножом, — только струна эта была не кишка и не лён, а само слово «Хенут», и резали его изнутри.

Нефрет стояла, не дыша. Потом побежала.

Она свернула за часовню, по мёртвому следу, меж двух оград, и выскочила в квадратный двор, где вход в гробницу

уходил в склон лестницей. Факел горел один, воткнутый в песок. При его свете человек в шакальской маске стоял на коленях у стелы и работал скребком.

Он работал аккуратно, по одному знаку: царап — влево, царап — вправо, и первый знак на стеле, перепёлка, обратился в свежую белую рану в камне. Тень Хенут стояла у самой лестницы — Нефрет видела её впервые так ясно: не рябь, не жар, а почти женщина, узкая, с тяжёлым париком певицы, с бусами, каких давно не носят, — и с каждым новым знаком, который обращался в рану, тень делалась тоньше. Она рвалась к стеле и не могла сдвинуться. Она открывала рот, и крик её был тем самым звуком перерезаемой струны, и Нефрет зажала уши ладонями, хотя это не помогало и не могло помочь.

Рядом на крышке ларца стояла плошка с чёрным воском, и воск был мягкий, тёплый, хотя огня рядом не было, кроме факела. От воска пахло смолой чужих гор, заморской, дорогой — такой пахнут грузы, которые привозят с юга за золото.

У ног человека лежал папирус. Он лежал развёрнутым, придавленный камнем, и Нефрет услышала его раньше, чем разглядела: лист гудел множеством тонких голосов. Письменные имена звучат тише живых и тише каменных, но звучат — пока они есть. На этом папирусе имена стояли столбиком, одно под другим, аккуратно, храмовые, и несколько верхних не звучали вовсе: вычеркнутые, они лежали на листе мёртвой чернильной тишиной, рядом с теми, что ещё

пищали и тянулись к миру.

— Хенут, — вырвалось у Нефрет.

Человек в маске не обернулся. Рука его на миг замерла — и продолжила.

— Прекратите! — крикнула она. — Это не ваше!

Скребок сошёл со стелы. Человек в шакальской маске обернулся — неторопливо, как оборачиваются во сне.

И Нефрет услышала то, от чего у неё перехватило горло: от него не шло ничего.

У всего на свете было имя. У факела — короткое, злое, огненное. У воска в плошке — густое, чужое. У человека под маской не было никакого. На его месте в мире зияла дыра, аккуратная, как рана после ножа, и эта дыра смотрела на Нефрет двумя глазами сквозь прорези шакальской морды.

— Слушательница, — сказала дыра. Голос был спокойный, почти ласковый, и в нём тоже не было имени. — Какая редкость. Иди сюда.

Нефрет побежала.

Она не помнила, как перелетела двор, как оказалась между оградами. Позади не хрустел гравий — дыра шла бесшумно, — но пустое её имя давило на спину, как давит рука. Нефрет скользнула за угол часовни, нырнула в разлом, где сто лет назад грабители проломили шахту, и застыла, вжавшись спиной в землю и прикрыв рот обеими ладонями.

Тьма была полна имён, и все они молчали.

Только на гребне, там, где кончались гробницы и начина-

лась настоящая пустыня, сидел шакал — живой, из плоти, с именем, какие бывают у зверей: коротким, горьким, пахнущим падалью и терпением. Он смотрел вниз, на двор, где ещё горел факел, и его имя дрожало: зверь боялся. Звери чувствуют такое без всякого дара.

— Ты слышала, как она умирает, — сказала дыра совсем рядом, над самым разломом. — Мало кто слышал. Это чистая смерть, маленькая певица. Ни боли, ни суда, ни взвешенного сердца. Просто — перестаёшь.

Пустое имя повернулось над разломом, и голос стал задумчивым, как у человека, который делит с тобой ремесло.

— Мир болен именами. Их слишком много, они цепляются друг за друга, как плющ, и на этом плюще висит всякая гниль: цари, которые не должны быть царями, женщины, которые сидят не на своих тронах, мёртвые, которые забыли уйти. Я лечу мир. По одному слову за ночь. Однажды здесь будет тихо и правильно.

Надо было послушаться Бакет. Заткнуть уши воском, петать живым за хлеб. Нефрет повторяла это, прижавшись к камню; стоило остановиться, перед ней снова вставала исчезающая Хенут.

Шагов слышно не было совсем, но пустое его имя двигалось над разломом туда-сюда, туда-сюда, и Нефрет молилась всем богам сразу, чтобы систр в её холщовой сумке лежал тихо.

Систр зазвенел.

Она сжала его сквозь ткань — поздно: перекладины отозвались тонко, радостно, дурацки громко, как звенят всегда в середине гимна, когда хор вступает на третьей строке.

— Певица Амуна, — сказала дыра сверху, и в безымянном голосе дрогнуло что-то похожее на улыбку. — Храмовая птица. Я найду твою клетку.

Он наклонился. Нефрет увидела над разломом край шакалей маски и руку, тянущуюся вниз, — и в этот миг через реку, через поля, через половину мира, из открытых дверей Ипет-Исута поплыл утренний гимн.

Храм пел имя Амуна-Ра, великое имя, имя, которое держит небо на месте. Голоса были далёкие, тонкие от расстояния, и от этого — ещё более могучие: они шли над водой, как идёт заря.

Рука над разломом остановилась. Отпрянула.

— Утреннее пение, — сказала дыра почти с сожалением. — Что ж. До ночи, слушательница.

И его не стало — не постепенно, не шагами удаляясь, а сразу, как гаснет уголь в воде. Пустое имя исчезло из ночи, и ночь сделалась просто ночью: шакалы, совы, ветер в сухой траве.

Нефрет сидела в разломе, пока не рассвело по-настоящему. Потом выползла, вернулась к часовне и долго смотрела на стелу. Перепёлка, вода, три штриха внизу — всё, что осталось от слова «Хенут». Поверх раны застыла чёрная лужица воска.

Тени у лестницы не было. Тёплой ряби не было. Нефрет позвала её по имени — по тому, настоящему, которое слышала под каменным, — и не услышала ответа. Тогда она сделала глупость, единственное, что умела: запела. Половину строки утреннего гимна, их с Хенут общую строку, — голос сорвался на втором слове, она начала сначала, допела до конца и стояла, вслушиваясь, пока горло не стало саднить.

Воск молчал. У лестницы, где всегда стояла Хенут, больше никто не ждал.

Она выскребла ногтем немного чёрного воска из лужицы — он был тёплый, хотя ночь уже выстудила двор, — завернула в лоскут, оторванный от подола, и спрятала за пазуху. Услышанное нельзя было показать жрецу. Лоскут с воском она могла положить на ладонь старшего жреца.

Паромщик перевёз её на восточный берег, ворча, что певица пахнет мертвечиной и страхом, и не взял с неё платы, потому что страха в её глазах хватило бы на троих. Пока ладья шла через реку, Нефрет держала руку за бортом: вода говорила своё бесконечное имя, и пальцы её дрожали не от холода — Нил в конце сезона был тёплый, как суп.

— Слыхала новость-то? — сказал паромщик, горбясь над шестом. — Царица велит ставить в Ипет-Исуте новую капеллу, красную, из цельного камня. А юный царь, говорят, уже лук тянет, что твой нубиец. Юный царь уже на учениях бывает! Скоро будет у нас два взрослых фараона, как две жены в одном доме. Вот смеху-то.

Он сплюнул за борт, вполголоса попросил у реки прощения за смех, и Нефрет подумала, что весь город давно живёт между двумя именами: одно — на троне, другое — подрастает в саду. Нефрет сжала лоскут под одеждой. На берегу уже виднелись храмовые ворота.

Она шла по ещё спящему городу, между глинобитных стен, мимо пекарни, где уже месили первое тесто, мимо собаки, которая проводила её взглядом и не тявкнула.

Старая Бакет ждала её у дома певиц, сидя на пороге, привалившись плечом к косяку. Она ощупала плечи Нефрет, взяла за подбородок, повернула к утреннему свету.

— Где ты ночевала, дочь Нила? — спросила она, и голос у неё был сухой, а руки — нет: руки легли Нефрет на лицо, горячие, пахнущие мятой и старостью.

Нефрет рассказала. Всё: струну, которую режут изнутри, чёрный воск, папирус с мёртвыми и живыми именами, дыру вместо лица, шакалью морду, обещание найти клетку. Бакет слушала, не перебивая, только губы её шевелились — она считала годы по пальцам, прикидывая что-то. Потом встала, сходила в дом, вернулась с куском хлеба и пивом и велела есть, потому что страх на пустой желудок растёт, как плесень на сыром хлебе, и только когда Нефрет прожевала, заговорила.

— Сто лет назад, — сказала Бакет, — когда боги сердились на эту землю и царей было больше, чем зёрен в горсти, ходили по кладбищам люди, которые продали свои име-

на змею. Их звали пожирателями. Они ели имена мёртвых, а когда мёртвых переставало хватать — брались за живых. У человека, чьё имя съедено, нет тени, нет ка, нет очереди за зерном: он угасает, а родня его чешет в затылках и не может вспомнить, кого хоронили. Говорили, поймать их может только тот, кто слышит, — слышащий. Говорили, такой нашёлся, и пожиратели кончились. Я думала, это сказка, которой пугают послушниц, чтобы не шлялись ночами. — Она сплюнула в песок и очертила вокруг Нефрет знак Исиды. — Теперь слушай меня. Молчать. Никому. Первый пророк скажет, что ты лжёшь или спятила, а жрецы не любят ни того, ни другого. Утром пойду к начальнику храмовой стражи, он мне должен ещё за тот погребец с финиковым вином. А ты спи. И если кто станет спрашивать — кто ночевал на том берегу, кто что видел, — ты не видела и не слышала ничего, даже если спрашивающий будет весь в золоте. Вопросы нынче опаснее ножей. Ляжешь спать. Проснёшься — будем думать.

Нефрет кивнула. В ушах стоял звон. Бакет повела её внутрь, уложила на свою собственную циновку, накрыла льняным покрывалом и села рядом, ворча погребальные гимны, как ворчат кошки.

Нефрет заснула под это ворчание, и ей снился чёрный воск, который стекает со стены и закрывает ей рот.

А у ворот дома певиц уже стоял человек в пыльной набедренной повязке и спрашивал у привратника, которая из певиц вернулась сегодня позже всех. Привратник, человек

старый и незлой, сказал правду: Нефрет, та самая, что поёт мёртвым, а не живым, смешная девчонка.

Человек поблагодарил. Он держал на плече вязанку камыша — видимо, на продажу, — и камыш был перевязан ремешком дважды, аккуратно, как перевязывают не камыш. Под камышом лежал нож. Человек отошёл к тени навеса напротив, присел на корточки и стал ждать, напевая себе под нос.

Он напевал утренний гимн Амуну — и все строки пел на одну ноту ниже, чем надо.

Глава 2 Стрела и лотос

Разбудил её запах жареного лука и чей-то шёпот над ухом.

— Нефрет. Нефф. Там к тебе человек. Из дома покойного писца Хаю, говорит. Нужна певица к вечернему отпеванию, срочно, платят серебром. — Мерит трясла её за плечо с энтузиазмом петуха. — Вставай, а то возьмут меня, а у меня сегодня стирка у реки, я тебе рассказывала.

Бакет не было — ушла ещё до рассвета, к начальнику храмовой стражи, должнику по финиковому вину. Голова у Нефрет была тяжёлая, рот сухой. Она сказала:

— Иду.

Работа есть работа. Певицы Амуна едят не с неба.

Человек ждал за воротами, в тени навеса. Вязанки камыша при нём уже не было; был узел в руке и улыбка, ровная, как отвес. Он улыбался, не сводя с неё глаз.

— Дом недалеко, певица. За амбарами. Пойдём, пока дух покойного не ушёл гулять.

Нефрет пошла следом. Платили серебром; Бакет ещё не вернулась. И только в переулке между амбарами, где пахло зерном и мышами, где не было ни одного окна, она услышала.

Имя у него было — но не то. Тусклое, грохочущее, как галька в горшке: имя носильщика, имя человека, который всю жизнь таскает и молчит. А говорил этот человек гладко,

с расстановкой, как говорят те, кто привык, что их слушают. Такое имя не вязалось с его речью.

Нефрет остановилась.

— Я забыла систр, — сказала она и повернулась.

Он не дал ей сделать и шага. Рука легла ей на рот — широкая, пахнувшая пылью, — а нож она увидела краем глаза, низко, у пояса, куда смотрят не все.

— Тихо, слушательница, — сказал он ей в висок, ласково, как говорят с невестами. — Господин велел забрать твой голос до ночи. Мне всё равно, заберу я его из горла или вместе с горлом.

Она ударила его затылком в нос — Бакет учила: у певицы нет кулаков, у певицы есть голова, — вцепилась зубами в ладонь, крикнула сквозь пальцы, и крик вышел хриплый, обрванный. Он взвыл, дёрнул её за волосы; нож пошёл вверх; она поймала его запястье обеими руками, и лезвие, вместо горла, полоснуло её по предплечью — горячо, точно, как черта писца. Она висела на его руке, подбивая ему ноги пятками; он матерился — вместо ровной речи вырывалась брань; потом он всё-таки сбил её на землю, и мир качнулся, и она увидела нож уже сверху.

Потом человек с чужим именем перестал стоять.

Нефрет не сразу поняла, что произошло: просто его вдруг не было рядом, а был грохот, и стена амбара качнулась, и кто-то большой, в пыльной килте, стоял над ним на коленях и делал короткие, экономные движения рукой, после которых

люди не встают.

Всё кончилось быстро и некрасиво, как кончается драка, а не битва.

— Живая? — спросил большой, не оборачиваясь.

— Не знаю, — честно сказала Нефрет.

Он обернулся. Высокий — тот самый, с речных ступеней, из дома юного царя, у которого, по словам Мерит, сдавали колени у женщин; у Нефрет колени сдали, но она отнесла это на счёт ножа. Лицо у него было открытое, смуглое, с облупившимся от солнца носом, и усмехался он и вправду так, будто мир — это шутка, которую он уже слышал, но не против послушать ещё раз.

— Тогда вставай, незнающая, — сказал он. — Мёртвым лежать положено, живым — разбираться.

Она не встала. Ноги не держали, и она сделала вид, что ей очень нужно сидеть. А потом её вывернуло за амфору — страх выходит из тела, как из него выходит всё: без спроса и без стыда. Хор отвернулся и стал разглядывать стену с таким вниманием, будто на ней были начертаны анналы царей. Когда она поднялась, он молча протянул ей флягу с водой.

— Смой рот, — сказал он. — И не думай, что ты первая. Меня после первого боя вывернуло на сандалиии начальнику. Он мне их потом год припоминал. Это у нас называется «посвящение».

Он подошёл, присел рядом на корточки, глянул на её руку — кровь шла ровной тонкой струйкой, — снял с пояса свой

шейный платок и обмотал ей предплечье, ловко, как обматывают древко копья.

— Корзиной ты машешь хорошо, — сказал он. — Только не в ту сторону. В следующий раз целься в колено, а не в воздух.

— В следующий раз? — У неё дрожал голос, и она возненавидела эту дрожь. — Ты собираешься устраивать мне покушения регулярно?

— Я офицер. Я планирую. — Он затянул узел, и пальцы его на мгновение задержались у её локтя; она заметила это и пожалела, что заметила. — Хор, — сказал он. — Из дома юного царя.

— Нефрет. Из дома певиц. — Она кивнула на мёртвого. — Он знал, кто я. Он сказал «слушательница».

Усмешка у Хора сделалась тоньше. Он вернулся к телу, обыскал его небрежно и внимательно, как делают всё, что касается мёртвых: профессионально. Из-за пазухи убитого он достал два предмета и долго смотрел на них.

Первым был ком чёрного воска, мягкий, хотя утро было прохладным. Нефрет почуяла запах из своего лоскута за пазухой — смола чужих гор, — и ей снова захотелось сидеть.

Вторым был осколок черепка с письменами.

— Читать умеешь? — спросил Хор.

— Хуже, чем пою.

— Тогда слушай. — Он повертел черепок так и сяк, и голос у него стал не насмешливый, а казённый, каким читают

в приказах. — «Та, что слышит. До следующей ночи. Голос — змею». И подписи нет. Подписей, певица, на таких письменах не ставят.

Нефрет молчала. Бакет велела молчать — но Бакет не предупреждала, что молчание придёт за ней с ножом ещё до полудня.

— Покажи своё, — сказал Хор.

— Какое — своё?

— То, что за пазухой. Ты принюхивалась к воску у него на груди так, как принюхиваются к уже знакомому. У тебя есть такой же.

Она достала лоскут. Хор взял его двумя пальцами, понюхал, поморщился: запах был сладкий, горный, дорогой, и в нём угадывалась враждебность, как угадывается в темноте собака.

— Смола с юга, — сказал он. — За такую платят золотом. Человек в пыльной килте не носит за пазухой золото, если он сам себе хозяин. — Он посмотрел на неё поверх лоскута. — Слушательница. Что он имел в виду?

— Что я пою, — сказала Нефрет. — Певица слышит музыку.

— Угу, — сказал Хор. — А я — жрец. Ладно. Молчи, коли велено. Только знай: я умею считать до двух. Один — ты, два — то, что ты слышишь. Сойдёмся позже.

— Это пойдёт не к храмовой страже, — сказал он, поднимаясь. — Это пойдёт во дворец.

— Ты не можешь распоряжаться тем, что лежало у меня за пазухой.

— А воск у тебя за пазухой, — согласился он. — Значит, распоряжаться будем вместе.

Оказалось — втроём. К амбарам уже бежала храмовая стража с Бакет во главе (старуха обгоняла молодых, подобрава подол, как пращник). Бакет обняла Нефрет одной рукой, другой проверила повязку. Из-под льна больше не текло; тогда старуха разразилась руганью — на убийцу, на утро, на начальника стражи, который опять опоздал к тому месту, где его не ждали. А следом за стражей пришёл гонец из дворца в льне, чистом, как яичная скорлупа. Жрецы от первого пророка хотели тишины: гладколицый жрец в леопардовой шкуре уже говорил, что никакого покушения не было, был грабёж, грабитель мёртв, так постановлено, и смотрел при этом на Нефрет, как смотрят на пятно на свежем платье. Гонец сказал два слова, и тишина кончилась, потому что слова были:

— Царица зовёт.

Бакет заплетала Нефрет косу перед дворцом — собственноручно, сплюнув на расчёску, — и совала ей за пазуху свой амулет, узел Исиды, потёртый, красный, пахнувший старостью и мятой. Мерит кружила рядом с глазами, как луны, шепча «дворец!» и «серебро!» и «а убийца правда весь в кровище?», пока Бакет не погнала её прочь полотенцем.

— С царицей говори, как со мной: правду. Она слышит

ложь, как ты — имена. И не смотри ей в рот, дочь Нила: у неё там весь Египет. И про папирус со столбиком — скажи. Про всё скажи. Того, кто молчит перед царицей, змея сама душит — и правильно делает.

По дороге во дворец Хор молчал целых сто шагов, что, как уже поняла Нефрет, было для него подвигом. Город между тем жил своей серединой дня: осёл с корзинами тёрся боком о стену и ругался на весь переулок, пивоварка выставляла кувшины и кричала цену, мальчишки гоняли по канаве глиняного крокодила. Над пилонами Ипет-Исута стояли флаги — длинные, красные, ленивые от безветрия.

— Ты вчера была на западном берегу, — сказал Хор на сто первом шаге.

Она не ответила.

— У тебя сандалии в белой пыли, — сказал он. — На восточном берегу пыль красная. Я офицер. Я замечаю.

— Ты всех девушек по сандалиям читаешь?

— Только тех, кого спасаю. Остальных мне не успевают убить.

Она шла и слушала — не его слова, а его. У него было имя, и оно звучало ясно, как звучат вещи, сделанные на совесть: короткое, крылатое, соколиное. Обычно ей надо было напрячься, приставить ухо к миру, — а его имя гремело само, без спроса, и Нефрет это раздражало, как раздражает слишком яркий свет, когда хочешь рассмотреть лицо. Где-то глубоко в этом имени сидела странность — оборванное

эхо, будто струну когда-то надрезали и она не дозвучала, — но Нефрет не стала к ней прислушиваться. Нечего лезть в чужие имена. Особенно в имена тех, кто будет рядом днём и ночью.

У дворцового сада Нефрет увидела мальчика. Он был ещё подростком, стоял в тени сикоморы с луком, который был ему выше пояса, и натягивал тетиву с серьёзностью полководца; губы у него дрожали от натуги. Стрела ушла в мишень — в самый край, но в мишень, — и мальчик оглянулся на солдат не по-детски: не «похвалите», а «видели? запомните». Солдаты поклонились. Хор тоже поклонился, и Нефрет заметила, что поклонился он мальчику так, как не кланялся потом никому в этом дворце, — легко и до земли.

— Юный царь? — спросила она.

— Юный царь, — сказал Хор, и всё, что было в его голосе, уместилось в эти два слова: и гордость, и жалость, и нетерпение. — Ему нужны войны. А у нас мир, царица и обелиски. Мальчик растёт, а слава не ждёт.

— Ты о нём или о себе?

Хор посмотрел на неё в первый раз без усмешки и не ответил.

Солдаты у сикоморы смотрели на них — на офицера царского дома, который ведёт во дворец храмовую певицу в перепачканной кровью килте. Нефрет знала, как такие взгляды складываются в слухи: один взгляд — одно зерно, к вечеру — мешок. Ей было всё равно. У неё за пазухой лежал чужой

амулет, чужой воск и чужая смерть, и на их фоне зерно не весило ничего.

Приёмную залу Нефрет запомнила так. Пол был выкрашен связанными врагами — по ним ступали сандалии, и враги терпели. Колонны стояли лотосами, расписанные до самого верха, где темнело от дыма лампад. Пахло миррой, чернилами и львом: у дальней стены, на короткой золотой цепи, лежал лев и спал. Писцы выходили задом, царица слушала последний доклад — о ячмене, о нубийском золоте, о красном камне для новой капеллы, — слушала и резала:

— Не «примерно столько мешков». Число. Я не принимаю «примерно» от людей, которые умеют считать.

Потом зала опустела, и остались они втроём: царица, Нефрет и лев. Хор стоял у дверей, статуя статуй.

Хатшепсут была в простом белом платье и в двойной короне, и корона сидела на ней, как сидит на своём месте вещь. Лицо у неё было круглое, спокойное, не первой молодости, а глаза — те самые, про которые Бакет сказала: слышит ложь. Нефрет стояла на расписных врагах и чувствовала, как у неё потеют ступни.

— Расскажи, что ты слышала на том берегу, — сказала царица. Без «певица», без «дочь», без ничего.

Нефрет рассказала. Струну, которую режут изнутри. Скребок. Чёрный воск и смолу чужих гор. Папирус, где имена лежат столбиком, и верхние — мёртвые, вычеркнутые. Тень, что не смогла докричать. И человека, у которого нет

имени, — дыру, что смотрит глазами.

Когда она кончила, царица спросила:

— В том списке. Были там имена живых?

Нефрет закрыла глаза, чтобы видеть то, что слышала. Лист. Столбик. Верхние — мёртвая чернильная тишина. Ниже — тонкое пицание, как пищат птенцы в гнезде, не зная, чья тень накрыла гнездо.

— Были, — сказала она. — Много. Они ещё звучали. Я не знала их лиц.

— Теперь знаешь одно. Начальника двойного амбара. — Царица сказала это ровно, но кольцо на её руке вдруг врезалось в подлокотник. — Он ещё дышит, пока ты здесь стоишь. К вечеру — посмотрим. — Она откинулась назад. — Ты видишь, как это делается, певица? Меня не тронут в лоб. Меня раздевают по нитке: казна, флот, амбары, песнопения. Когда со всеми, кто ставил мне корону, случится бледная смерть, останется вопрос, который зададут в храме шёпотом: а была ли она? Так убирают не женщину. Так убирают имя.

Она помолчала, и Нефрет показалось, что пять тонов над её головой на мгновение сбились, как сбивается хор, когда у певца перехватит дыхание.

— Что ты слышишь сейчас? — спросила царица.

Нефрет послушала. Опахала — шорох и перья. Водяные часы у стены — капля, капля, тонкое имя меди. Лев во сне — золотое, ленивое, огромное имя. И над всем этим, как над городом стоит гора, — пять имён, пять звуков, сложенных

в один аккорд: звонкий, как утренняя стража; глубокий, как Нил в разлив; женский, тёплый, материнский; короткий, как удар ножа; и под ними всеми, самый глубокий — Маат-ка-Ра, Правда-есть-душа-Ра, имя, от которого гудел пол.

Её горло сдвинулось само. Она едва успела проглотить звук.

— Не произноси, — тихо сказала царица. — Некоторые имена держат мир. Ты умеешь держать их в себе?

— Учусь, — сказала Нефрет.

— Учи быстрее. — Царица встала и подошла близко; она была ниже Нефрет ростом, и это ничего не меняло. — Два года мои люди умирают бледной смертью. Казначей, что держал мою казну. Корабельщик, что водил мои суда. Жрица Мут, что пела мне в ночи. Их хоронили, а наутро вдова спрашивает, кого хоронили. Жрецы говорят — дурные сны. Я говорю — война. — Она помолчала. — У меня есть сто глаз и сто рук, певица. У меня нет ушей, которые слышат то, что слышишь ты. Будешь моими ушами.

— Я певица, — сказала Нефрет.

— Именно, — сказала царица. — Певица. Пой мне того, у кого нет имени.

Она сняла с пальца кольцо — тяжёлое, золотое, с крошечным картушем — и положила его Нефрет на ладонь.

— Кто увидит это, тот откроет тебе дверь, в которую не положено стучать. Не потеряй. Такие вещи возвращают либо в целости, либо вместе с рукой.

Нефрет хотела сказать: я боюсь. Я пою мёртвым. Я не умею. Вместо этого она услышала свой собственный голос:

— Что будет мне за это?

Царица улыбнулась — впервые, и улыбка у неё была как при удачно начатом торге.

— Защита. Золото. И запись, — сказала она. — В храмовых книгах есть строка о девочке, найденной у ворот восемнадцать лет назад. Там есть имя той, кто оставила корзину. Я прикажу найти эту строку.

Нефрет перестала чувствовать пол под ногами. Она кивнула.

— Офицер, — сказала царица, не оборачиваясь. — Шаг вперёд.

Хор шагнул и встал на колено.

— Ты будешь её тенью. Днём и ночью.

— Царица, — сказал Хор в пол. — Я присягал дому юного царя.

Опахало за царским креслом остановилось. Лев во сне дёрнул лапой.

— Ты присягал Египту, — сказала царица мягко. — Или у тебя две присяги, офицер? Тогда выбери ту, что уже умеет тянуть лук.

Нефрет не поняла. Хор понял: она увидела, как у него напряглась шея. Он стоял на колене три удара сердца дольше, чем положено, потом сказал:

— Буду её тенью.

— Вот и хорошо, — сказала царица и повернулась к писцам, которые уже ползли обратно в залу задом наперёд. — Тень, при певице. Певица, при мне. Все при деле, как я люблю.

Их выпустили из дворца, когда солнце стояло уже низко и тени от пилонов лежали через дорогу, как лежат усталые рабочие. Нефрет шла и держала за пазухой узел Исиды, чужой, тёплый. Хор шёл рядом и молчал — на этот раз, кажется, всерьёз.

— Она не права в одном, — сказал он наконец. — Я не выбирал между двумя присягами. Я выбирал между троном и тобой. И вот что смешно, певица: я даже не помешкал.

Он сказал это вперёд, в дорогу, и больше не сказал ничего до самого дома певиц, а Нефрет шла и думала, что соколиные имена нельзя слушать так внимательно, потому что в них слышно, чего в словах нет.

У дома певиц их ждала Бакет, а с ней — человек из храмовой стражи, взмокший от бега. Он не дал им войти; он сказал всё с порога, торопливо, глядя в сторону.

Начальника двойного амбара Амуна нашли мёртвым в его постели — тихо, во сне, лицо спокойное. Жена его сидит у тела и спрашивает всех, кого это хоронят: не может вспомнить. На дверях амбара, где он вёл учёт, его имя соскоблено и залито чёрным воском. А ещё стражник сказал, понизив голос, что этот начальник амбара был из тех, кто при коронации подавал царице двойную корону.

Бакет очертила знак Иисиды. Хор выругался сквозь зубы, совсем не по-офицерски. Потом он снял с пояса что-то маленькое и сунул Нефрет в руку: свисток из козлиной кости, какими созывают рекрутов.

— Сплю у ворот, — сказал он. — Не в доме, я ж не свинья, чтоб спать у женщин под окнами без спроса. Свистнешь — приду. Не свистнешь — всё равно приду, так что лучше свистни, и мы оба будем знать, зачем я пришёл.

Он ушёл, насвистывая утренний гимн — все строки верно, одну за другой, и Нефрет подумала, что вот же он, тот самый случай: человек, которого ей подсунула судьба, поёт точнее, чем иные жрецы.

Мерит спала, свернувшись, и во сне что-то выторговывала. Бакет сидела над Нефрет, пока та не притворилась спящей, и только тогда ушла, шаркая, в свою каморку.

А Нефрет достала из-за пазухи лоскут с застывшим воском и смотрела на него, и думала только об одном: в том папирусе, при свете факела, столбик имён был длинным.

На много ночей его бы хватило.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.